

Б И Б Л И О Т Е К А

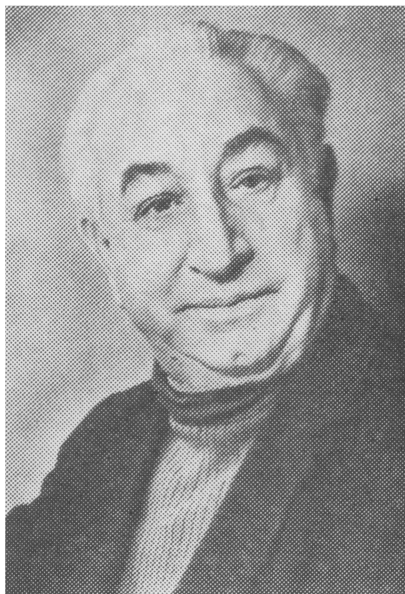
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 36

1985



Георгий ГУЛИЯ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

ЭЗОП В ДЕЛЬФАХ

Георгий ГУЛИА

ЭЗОП В ДЕЛЬФАХ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1985

Георгий ГУЛИА

Георгий Дмитриевич Гулиа родился 14 марта 1913 года в Сухуми. По образованию инженер-путеец, работал на строительстве Черноморской железной дороги. Занимался журналистикой, живописью и графикой. В 1943 году Г. Гулиа как художнику было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, а в 1971 году — звание заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР.

С 1938 по 1945 год он работает начальником Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров Абхазской АССР и одновременно секретарем Союза писателей Абхазии. С 1950 года — член редакционной коллегии «Литературной газеты».

Член КПСС с 1940 года.

Печатается Г. Гулиа с 1930 года. Он автор рассказов, повестей, романов, юморесок, статей. Его первая повесть — «На скате», затем идут «Месть» (1936), «Рассказы у костра» (1937) и другие. За литературную деятельность он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и тремя орденами «Знак Почета», а также болгарским орденом Кирилла и Мефодия I степени. В 1949 году ему присуждается Государственная премия за повесть «Весна в Сакене», а в 1974 году — премия имени Дмитрия Гулиа Абхазской АССР за книгу «Повесть о моем отце».

Нашей современности посвящены повести «Леночка», «Каштановый дом», «Скурча уютная», «Все видели спящую реку», роман «Пока вращается Земля». Повесть «Черные гости» и роман «Водоворот» рисуют Абхазию девятнадцатого века, а романы «Фараон Эхнатон», «Человек из Афин», «Сулла», «Ганнибал — сын Гамилькара», «Сказание об Омаре Хайяме», «Викинг», «Рембрандт» — жизнь Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Карфагена, средневековых Ирана и Норвегии и Нидерландов XVII века. Жизни русских поэтов посвящены роман «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова» и повесть «Поэт, или Александр Блок».

ВЫСОТА 2010

Поздно ночью в районный центр позвонили из села Мац-ира, расположенного у западных отрогов Абхазского хребта. Взволнованный голос председателя сельского Совета сообщил, что два пастуха нуждаются в срочной помощи.

— Что случилось? — спросил председатель районного исполнительного комитета.

— Три пастуха нашей фермы, — говорил Ниязбей Чича́гуа, — пошли на пастбище. Там около тысячи пятисот голов скота. Поскольку начало октября, скот надо погнать назад, на ферму.

— А где скот, уважаемый Ниязбей?

— Скот за перевалом...

— Каким?

— За перевалом Гуа́д. Это примерно на высоте тысяча восемьсот метров. Вдруг погода испортилась. Совсем неожиданно.

— Когда?

— Позавчера. Подул холодный ветер, потом полил дождь, а там и снег пошел.

— А вы и не ждали?

— Кто мог подумать? Начало октября — пора нормальная. В смысле атмосферы. Снега не бывает. Во всяком случае, мы не помним... Один из пастухов сломал ногу — подскользнулся. Его друг остался с ним, а третий, который был совсем налегке, спустился к нам, чтобы сообщить обо всем.

— Что он еще сказал?

— Сказал, что погода резко ухудшается. Снегопад усиливается.

— Ниязбей, уточни местонахождение пастухов.

— Значит так: не доходя до перевала Гуад. Это в двадцати километрах от нас. В десяти километрах южнее перевала находится озеро Гу́шра. Небольшое. Из него вытекает Ацан-кв́ара. А они на вершине.

— Какой вершине?

— Мы называем Геч-арх́у. Высота... Я точно скажу: две тысячи десять...

- Чего это их туда понесло?
- Они хотели сократить дорогу.
- А что можете сделать вы?
- Боюсь, что ничего. Снег повалил и у нас.
- Ясно. Оставь у телефона дежурного. Примем меры.
- Они могут замерзнуть.
- Я же сказал: примем меры.

Рано утром — раньше обычного — командир вертолетного экипажа Владимир Барышев был вызван к командиру Сухумского авиаотряда. Чернявый, крепыш среднего роста, Барышев нынче готовился лететь к геологам к горе Соипсара. Оказалось, маршрут меняется...

- Опять туристы? — спросил он.
- Нет, пастухи.
- Они наверняка опытные. Что случилось?
- Неожиданный снег, похолодание. У одного сломана нога.

Командир отряда показал кружочек на карте:

- Вершина Геч-арху. Высота две тысячи десять.

Барышев внимательным глазом прошелся по карте.

— Дурацкая река эта Ацан-квара, — сказал он. — Она извивается не как змея, а как дюжина змей. И ревет она в глубоком и узком ущелье... А как сегодня с погодой?

— Ущелье основательно прикрыто облаками. В селе Мац-ира и выше выпал снег.

Барышев припомнил:

— Год назад со скалы снимали туристов. Вот тут, правее села... Летишь по ущелью и не знаешь, с какой стороны ветер шархнет. Сумасшедшее ущелье!

- И как? Лететь будем?

— Попробуем, — сказал Барышев и пошел к машине, к стоянке номер два.

В двух словах рассказал второму пилоту Зурабу Миндели и борتمеханику Вахтангу Коридзе, в чем дело.

— Знакомый перевал, — усмехнулся долговязый Коридзе. — Мы с Хлоповым однажды, можно сказать, не летели туда, а на колесах поднимались. Как старинная арба. Не полет, а сказка! Но раз там люди...

- Вот именно, — сказал Барышев, — давайте готовиться.

Менее чем через час Барышев запросил разрешения на запуск двигателя. А Миндели продолжал читать вслух карту обязательных проверок.

— Сухуми-руление! Борт двадцать пять триста к старту готов. Разрешите контрольное висение.

Двигатель ревел все яростнее, машину трясло, как в доброй — будь она неладна! — лихорадке. Многотонная машина зависла над землей.

Вскоре командир доложил, что «взлет произвел» и попал, что называется, «в зону круга». Теперь можно ложиться на курс.

Вот она, внизу, эта самая Ацан-квара. Видимость пока хорошая, облака высоко-высоко. Но вот ущелье — каменная горловина, откуда река вырывается на простор. И тут все быстро меняется: ущелье прикрыто плотной облачностью, но не минимальной — аварийно-спасательной высоте в триста метров, — лететь пока что можно.

Голубоглазый, немножко белобрый Миндели внимательно оглядывает свою, правую полусферу.

— Ветер, — говорит он и указывает на деревья внизу. Барышев кивает: мол, есть ветерок.

Начинается болтанка — это от ветра справа.

— Обороты девяносто семь процентов, — сообщает бортмеханик.

Может быть, чуть подлететь, потому что радиовысотометр показывает, что земля приближается? Но куда же выше? Вертолет чуть не касается винтами серовато-илистого облачного брюха.

Однако с каждой минутой машину трясет все больше. Этот ветер справа словно задался целью сорвать полет. Облака плотно прикрывают ущелье. Если лететь дальше, то придется опускаться ниже трехсот метров, что совершенно недопустимо.

Экипаж принимает одно — единственно возможное — решение: надо возвращаться на базу и дожидаться следующего утра...

Утро шестого октября ничем не отличалось от вчерашнего: те же облака, то же ущелье, продуваемое со всех сторон. Правда, из села Мац-ира сообщили, что снегопад прекратился и даже выглянуло солнце. Но предупредили, что на юго-востоке небо по-прежнему не сулит ничего ласкового.

Барышев вел вертолет, выписывая в воздухе невероятные зигзаги: вправо, влево, вверх, вниз и снова все сначала — без передыха. Идавший виды Барышев цедит в полуулыбке:

— Ну и цирк!

— Справа село, — говорит Миндели.

И, как по заказу, болтанка прекращается. Где же школа? Говорят, школьный двор вполне пригоден для посадки. Да, вот он, прямо по курсу! Да и людей немало — видно, ждут.

Посадка прошла отлично, вертолетчиков встретил Ниязбей Чичагуа.

— Может, перекусите?

Это были первые слова Чичагуа.

— Счет на секунды, — сказал Барышев.

— Они будут очень рады. — Чичагуа указал на двух женщин, рядом с которыми стояли дети с вытянутыми от волнения лицами. —

Это их семьи. Вот их,— Чичагуа рукой показал на горы.

— Мы летим туда. Не беспокойтесь.— Барышев обратился к председателю сельского Совета: — Как там со снегом?

— До двух метров. И холоднее, чем здесь. В два раза.

Барышев видел их глаза: доверие, испуг, надежда — все в них одновременно и неизменно.

— Ну, мы пошли.

Многие сельчане переглянулись: пошли? Это звучало очень и очень буднично... Пошли?

Вертолет уже ревел над головами. Потом — над вершинами деревьев. А еще после — над горами.

— Видали? — сказал командир.

— Что? — спросил Миндели.

— Их глаза.

И командир круто повернул и повел вертолет прямо в ущелье.

А в ущелье все по-прежнему: облачность на пределе, ветер шлендает то сзади, то справа, то в лоб. Назад, что ли, возвращаться? Но те глаза, но те лица? Которые в селе...

— Обороты девяносто три...— Голос бортмеханика не очень бодрый, но и не очень пессимистичен.

Вот каменная стена почти к левому борту придвинулась. То же и с правой стороны. Миндели определяет расстояние до скал в тридцать метров. Скажем прямо, маловато... Впереди, кажется, что-то светит. Но что?

Барышев следит за каждым поворотом скал, за каждым выступом и настороженно ждет сигнала второго пилота. Но тот внешне спокоен: вся правая полусфера обзора — перед глазами, ничто не ускользает от его внимания.

Машина уходит вверх. И вскоре открывается вид на долину, такую неширокую, какая бывает в горах, вроде небольшого зала среди конусообразных вершин, точнее, хоровода вершин, выстроившихся по кругу.

Барышев — диспетчеру:

— Набираю высоту. Нахожусь северо-западнее села Мац-ира. Долины и склоны в снегу. Иду к перевалу Гуад.

— Минимальная высота две триста,— говорит диспетчер.

— Вас понял.

Черт возьми, все белым-бело! Даже острровершие горы и те плотно заштукатурены. Где среди этого белого покрывала отыскать перевал Гуад, тоже белый-белый! А высота 2010? Где она? Которая из дюжины вершин-близнецов?

Три пары глаз жадно устремлены вперед. Где перевал?

— Озеро! Слева по курсу.— Барышев доворачивает влево.— Будем танцевать от озера.

Машина летит к озеру, и оно оказывается по правому борту. Миндели всматривается в голубеющую воду. И по ряби на ней определяет направление ветра:

— Ветер встречный.

— Отлично! Значит, где-то севернее будет наш перевал.

Командир не ошибся: прямо по курсу показалась седловина. Не здесь ли перевал? Вертолет делает большой круг над горами. Очень красиво все выглядит, но где в этой красоте отыскать две точки, два человеческих, будем надеяться, горячих сердца?

— Допустим, это и есть Гуад,— говорит Барышев,— а где высота 2010? Где она?

Под вертолетом, по-видимому, находится Гуад. А где же еще ему быть? Вот озеро Гушра, из него вытекает река, правее — хребет. И командир докладывает диспетчеру:

— Нахожусь в районе перевала Гуад. Обслежую хребет. Что-то многовато вершин, и все они как близнецы.

— Как погода?

— Ясно. Но ориентиры нечетки — все в снегу. Ветер переменчивый.

— В районе перевала снег до двух метров.

— Понял!

Миндели шарил глазами по заснеженному хребту, над которым летел вертолет. Ветер дул теперь попутно, и это вызывало сильную болтанку.

— Обороты девяносто пять!

Вершины чередовались с небольшими седловинами. Уходить дальше на восток, как видно, не следует. Не могли же пастухи идти кружным путем, вместо того чтобы срезать дорогу... Где на этой сверкающей до боли в глазах белизне найти две точки?

Миндели, видно, что-то приметил. Подался вперед, протирает глаза, словно попала соринка. Что это там, внизу, чуть не под ногами?..

И в это самое время машину начинает болтать почем зря. Откуда-то, словно пес с цепи, сорвался ветер, да такой сердитый, что Барышев вопросительно глядит на второго пилота. А кто что может предсказать в горах, где столько же сквозняков, сколько ущелий и вершин? А кто сосчитает количество вершин, седловин, ущелий? Где та формула, выполняя которую можно лететь безошибочно, безопасно, наверняка? И точно выходить на нужную высоту и находить тех, кто ждет твоей помощи. Чтобы спасти, чтобы доставить радость его близким, его жене, его детям...

— Не эта? — Миндели указывает на вершину, которая прямо по курсу.

Вершина высится на восток от перевала. Первая по высоте. До нее метров четыреста. Очень похоже, что это и есть высота 2010. Но, а эта проклятая болтанка? Барышев решает лететь по кругу, чтобы обследовать вершину со всех сторон. Но откуда все-таки дует ветер? С юга, запада, востока, севера?

Командир разворачивает вертолет влево — болтанка прекращается. Но ведь надо лететь на северо-запад, а не на юг. Не отдаваться же на прихоть и милость ветра!

Барышев чертыхается:

— Где эта высота? Эта, что ли?

Миндели уверен, что высота 2010 прямо по курсу. Пастухам незачем было удаляться восточнее. Отсюда, от склонов высоты 2010, короткий путь к перевалу.

— Обороты? — спрашивается командир.

— Девяносто пять.

Командир круто разворачивается, снижается до 2300.

Ветер подул в лицо. Но ненадолго. Снова ожил тот, который слева, и машина тотчас вздрогнула.

— Там, внизу, справа по курсу! — восклицает второй пилот.

Барышев всматривается в заснеженный пейзаж. Пожимает плечами.

А второй тычет пальцем: сердитый воздух, дескать, там это, там! Внизу! Командир прочерчивает над горами тесный круг, чтобы удобнее было обозреть местность, на которую указывал второй пилот.

— Вон они, вон! — Миндели ясно видит точку на снегу и запятую.

— Один лежит? — говорит командир.

— А другой машет руками.

Барышев докладывает диспетчеру:

— Нахожусь у высоты две тысячи десять. Вижу двоих. На снегу. Приступаем к работе.

— А есть куда садиться?

— Площадка подходящая. Как видно, к ней спустились пастухи. Захожу на посадку. Выйду на связь. — Командир подумал и сказал диспетчеру: — Выйду на связь через час.

— Вас понял. Взлет доложите.

Высота 2010 оказалась коварной: ветер здесь дул, что называется, сразу с четырех сторон. Барышев пошел на круг, прямо над площадкой. Потом на второй. Откуда все же ветер дует? Посмотрел на второго пилота, покачал головой.

— Горы, — сказал Миндели.

— Все ветры сошлись здесь, что ли?

— Выходит так.

Болтанка усиливается. Впору возвращаться назад. Барышев пытается подставить машину ветру левым бортом. Это не удается.

— Обороты?

— Девяносто три.

Вертолет, послушный экипажу, быстро снижается. А что если попытаться зайти с востока? Через минуту новость:

— Обороты девяносто один.

Правда, две единицы есть еще в запасе. Наверное, с востока не годится. Прямо по курсу со скалы посыпался снежок. Он падал, слегка отклоняясь влево. Вот тут-то Барышев и подставил лицо ветру. Можно сказать, изловчась. Разом поднялись обороты, машина уверенно опускалась на площадку. Вот она уже совсем близко! Уже видны лица двух изможденных пастухов.

— Садимся! Вахтанг, обследуй площадку.

Барышев не сбрасывает шаг-газ, вертолет повисает в воздухе, едва касаясь тремя точками снежного покрова.

Бортмеханик спрыгивает наземь. Потоптался на снегу. Подал командирю знаки: мол, можно спуститься еще чуть-чуть.

Пастухи ковыляют по снегу. Один виснет на шее другого. Где Барышев видел вот такие же глаза? Конечно же, в селе Мац-ира!

Бортмеханик обнимает пастухов, помогает им забраться в кабину. Тут они, тут!

Еще минута, и вертолет набирает высоту. Вот он уже над снежными вершинами...

МАМА ПОКУПАЕТ ПРОВИЗИЮ

Из детства

Мама собирается на базар. Неплохо бы ей помочь — потаскать корзину. Больше всего для этой роли подходит мой брат Володя. Так я полагаю. Но он чего-то упрямится. А со мной, по всему видно, маме неподручно. Кажется, она что-то припоминает касательно меня...

Я не рвусь на базар. В это воскресное утро хочется мяч погонять на ближайшей травянистой площадке. А этот Володя упрям, как буйвол, которого из болота не выдворишь. Мне не хочется на базар, но приходится. Мама косится на меня, но и ей делать нечего: вот я и беру корзину. С кислой миной на лице...

Мама семенит довольно быстро. Я отстаю. Этим я хочу показать, что тащусь без всякой охоты. Мама поворачивается ко мне.

— Не глазей по сторонам, — приказывает она, — шагай шибче! Жарко будет — вон где уже солнце!

А что солнце? Оно там, где ему положено быть. На небе. Вот где! Мне дорогу переходит навозный жук. Раздавить его или?..

— Опять отстаешь?

Я делаю длинный шаг — черт с ним, с жуком, пусть ползет...

Утро, да что там утро! — полдня будет потеряно. Мама любит походить по базару. Я не знаю, что она там потеряла? Взад и вперед — раз десять в зеленном ряду — это наверняка! У каждой мясной лавки стоит, поговорит с мясниками. Наверняка! О чем, спрашивается? Что, мяса не видела? Я бы, к примеру, все в одно мгновение закупил. Это же несложно. Подошел к зеленщику. Петрушка свежая? Свежая. Сельдерей свежий? Свежий. Киндза, или как там ее по-ботаническому — кореандр, свежая? Свежая. Клади в корзину — и все тут! Да и мяса купить тоже немудрено. Вот так, скажем:

— Ражден, дай два фунта.

Взмахнул Ражден ножом, предварительно его поточив о точилку, которая у него на поясе висит, и — на тебе два фунта и даже с золотниками. Велика наука!

Или, скажем, хамсу покупать... Посмотрел на нее: не воняет? Нет, свежая. Давай оку, то есть три фунта. И вся тут песенка!

А с яблоками еще проще.

— Сколько?

— Фунт двадцать копеек.

— Сыпь сюда две оки.

И пошел себе.

А фасоль зеленую покупать и того проще.

— Хороша фасоль, хозяин?

Продавец разламывает тугую фасоль надвое — аж хруст на весь базар.

— Сыпь два фунта.

А муку кукурузную купить сложно? Всего два слова:

— Откуда она?

— Гумистанская.

— Не надо.

Пошел дальше.

— Откуда твоя?

— Цебельдинская.

— Сыпь в кулек два фунта сеяной и два фунта с отрубями.

И вся базарная сказка! Скажем прямо, не мудрящая.

Всего полчаса — и корзина полным-полна. Ступай себе домой.

И жариться под солнцем не придется. Все мигом! Все своим чередом! И времени останется до черта: хочешь — гоняй мяч, хочешь — читай Майн-Рида...

А вот мама... Нет, вы только посмотрите на нее, только прислушайтесь к ее словам.

Я сейчас все представлю, как это бывало...

Значит, так...

Идем по зеленному ряду. Мама замедляет шаг.

- Это что, хозяин?
- Петрушка, мадам.
- Отчего такая бледная?
- Засуха же, мадам. Дождя нет. Целый месяц.
- А сколько за нее просишь?
- Три копейки.

Мама берет стебелек с бледным листочком. Пробует на вкус. И не говоря ни слова, идет дальше.

Эти зеленные ряды не кончаются — они бескрайние. Мама выясняет цвета петрушки, укропа, киндзы, сельдерея. Потом сравнивает цены на них. И все подряд бракует.

— Плохой базар, — говорит она, вздыхая. — Дорогой.

Потом наступает черед мяса. Выясняется, что оно сплошь негодное, сплошь костистое, скот забит очень старый. И тоже очень дорогое.

— Что за бык, Ражден? — говорит мама.

— Мадам, — кипятится Ражден, — это же теленок.

— Этот? Теленок? А цена?

— Полтинник за фунт.

Мама безнадежно машет рукой. Такой же диалог происходит с Панджо, Семеном, Гудымом... Почти со всеми мясниками.

— Базар сегодня никудышный, — решает мама. — Дорогой.

— Вы нас обижаете, — пропитым голосом говорит Гудым и, взмахнув ножом, блестящим, словно молния, отрезает кусок мяса и кидает себе в рот. — Это же шоколад, а не мясо!

Мама не сдается:

— В прошлое воскресенье я послушалась тебя, и мы с трудом жевали мясо. Этому мясу красная цена двугривенный.

— Обижаете, мадам Гулиа, обижаете.

— Идем отсюда, — говорит мама, — я знаю, где торгуют прекрасным мясом.

— Мясо хорошее, — говорю я.

— Ничего ты не смыслишь.

И мы уходим во фруктовые ряды. А я знаю, что маме фрукты не нужны, но она должна знать цены на них. А зачем? Чтобы поддерживать женскую болтовню в нашем дворе?..

Обойдя все базарные закоулки, мама приходит к определенному выводу: в этом году фрукты плохие.

Я останавливаюсь возле одной яблочной горы и утверждаю:

— Фрукты хорошие.

— Сколько они стоят, хозяин?

Грек с готовностью отвечает:

— Для вас — пуд два рубля.

— Два рубля? — удивляется мама. — Ужасный сегодня базар.

И мы идем к зеленым рядам, то есть к самому началу нашего

путешествия по базару. Я так и знал, что все повторится с этими петрушками и прочей зеленью.

— Красивый базар,— говорю я поперек маме.

Она сердится:

— Ничего ты не смыслишь. Володя понимает лучше. Жаль, что я с ним не пошла...

Мы уже битый час на базаре, а пока что не купили ни единого лепесточка петрушки.

В зеленном ряду (это у входа на базар) мама встречает знакомую даму. Обе рады этой встрече. А я наперед знаю их диалоги:

— Елена Андреевна, каков рынок нынче?

— Ужасный!

— Я так и думала.

— За вялую петрушку требуют три копейки.

— Какой кошмар!

— А мясо — полтинник.

— Телятина?

— Какая там телятина! Может, буйвол, может, престарелый бык...

— Мама,— говорю я с упреком,— мясо очень хорошее.

— А это ваш мальчик? — умиляется знакомая дама. Ее серые глаза на румяном лице с любопытством направлены на меня.

— Мясо хорошее,— упорствую я.

Дама хохочет:

— Хороший у вас помощник. Сколько ему лет... Как? Уже десять? Боже, как бежит время! А я еще помню, как он соску сосал...

— Хорошее мясо,— назло твержу я.

Мама полностью игнорирует мое мнение. Базар нынче плохой, утверждает она, потому что на прошлой неделе шли сплошные дожди.

— Верно, верно,— соглашается знакомая мамина дама.— Надоели они...

А я полагаю, что все это чепуха — дожди и прочее... Просто маме и этой даме языки почесать охота — давно не виделись...

Мама говорит, кивая на меня:

— Из него плохой семьянин будет. У него на уме не покупки, а совсем другое.

— А что другое? Мне это интересно узнать...

— С годами образумится,— говорит сероглазая, румяная дама.—

Я с моими тоже маюсь.

А солнце уже припекает. Оно сегодня злющее на пустынном, белесоватом, выгоревшем июльском небе.

Проходит еще час, а корзина наша пуста. И мы снова у травяных горок.

— Это что — петрушка? — удивляется мама.

— Да, петрушка, мадам.

— А я думала киндза. И сколько за нее просите?

— Три копейки.

— Три копейки? — поражается мама. — Да вон рядом она стоит копейку.

— Так вы там и берите.

Я знал, что именно так ответит зеленщик.

— Две копейки, — говорит мама.

— Нет, три.

Я шепчу маме на ухо:

— Стоит торговаться из-за копейки?

Она отмахивается от меня, как от мухи.

— Возьму два пучка по две копейки.

— Ладно, берите.

Слава богу, петрушка куплена. Есть почин! Теперь пора приступить к сельдерее. Я не знаю, зачем нужен этот сельдерей. С ним тоже получается нескладно: за пучок просят четыре копейки, а мама оценивает в копейку.

— Не торгуйся, — шепчу я маме.

— Не мешай.

— Сельдерей хороший.

— Ты ничего не смыслишь... Отчего он такой вялый? — спрашивает она продавца.

— Как вялый?!

— Очень просто! Вон рядом сельдерей, как с картинки. И всего две копейки.

— Так вы берите рядом...

В конце концов сходятся на трех копейках. Мама довольна, а мне стыдно: я бы дал за сельдерей и пять копеек. Чего мелочиться!

Потом наступает черед укропа, капусты, моркови, бурака, рейхана, мяты, картошки... Черт бы их всех побрал! Сдались они мне! Володя наверняка мяч гоняет, а я должен по базару таскаться среди гудящей, жужжащей, свистящей толпы. Черт знает что!

Время идет, мамыны диалоги и монологи становятся все более драматичными и достигают шекспировских высот в знакомом мясном ряду. Разных там шейлоков в перепачканных кровью фартуках мама сражает железной гамлетовской логикой. Быть или не быть? — вот в чем вопрос. И все-таки быть! Мясо покупается. Мама выторговывает десять копеек за фунт и, довольная, кладет в корзину сверток с мясом.

— Ражден, — говорит она строго, — сегодня ты меня надул. Я это стерплю. Но в следующий раз не прощу.

Ражден хохочет:

— Мясо прекрасное, мадам Гулия. Приходите к нам почаще.

— Я подумаю, — ворчит мама.

А я всем своим видом даю понять Раждену, что согласен с ним, а с мамой не согласен. Когда-нибудь я верну эти десять копеек... Даю слово!

При выходе на улицу мама замечает синьку в ларьке.

— Мне нужна синька,— говорит она. Потом долго роется у себя в ридикوله, высыпает мелочь из кошелька на ладонь.

— Сколько надо синьки? — нетерпеливо спрашиваю я.

— Сейчас скажу.— Мама считает, пересчитывает деньги.

В ларьке она не торгуется — цены здесь без запроса. А за спиной у хозяина висит надпись: «Кредит портит отношения». Признаться, я не могу взять в толк, что это за кредит и что за отношения.

Мама купила-таки синьку, и мы направились домой. Не могу сказать, что корзина была легкой. Она порядком тянула книзу плечо. Приходилось ношу перекидывать из одной руки в другую.

— Этому Раждену я переплатила,— вслух размышляла мама.— Он все-таки жулик. Костей наложил немало.

— Он сказал, что кости сахарные.

— Больше верь ему! — ворчала мама.— Мясо хорошее было у Гудыма. Очень хорошее!

Солнце изрядно припекало. Мама шагала быстро-быстро. Я еле попевал за ней.

— Плохой базар сегодня. Никудышный,— сетовала мама,— столько денег выбросила...

Вот мы наконец и дома. К моему удивлению, Володя здесь.

— Разве ты не пошел на игру? — удивился я.

— Нет.

— Значит, ты ел варенье?

— Нет.

— Покажи язык.

Володя высунул язык: нет, следов варенья незаметно.

— Что же ты делал? — спрашиваю.

— Играл с Таней.

Я устыдился своей подозрительности.

Мама отозвала Володю в сторонку, что-то прошептала ему на ухо, и он помчался вниз по лестнице, потом через весь двор к нашему соседу Федору, торговавшему курами.

Я видел, как Володя полез на штaketник. Слышал, как позвал «дядю Федора». Они о чем-то поговорили.

Вскоре Володя примчался назад. Снова пошептался с мамой. Потом она занялась с нашей сестрой Таней и готовкой обеда.

Мы с Володей очутились наедине.

— Володя,— сказал я,— у меня есть от тебя секреты?

— Не знаю.

— Нет, знаешь.

Володя подумал-подумал и честно признался:

— Нет секретов.

— Тогда скажи: зачем ты бегал к дяде Федору?

Он колебался.

— Зачем бегал? У меня же от тебя нет секретов.

— Никому не скажешь?

Я поклялся бабушкой.

— Она попросила у дяди Федора пять рублей до папиного жалованья.

— И он дал?

— Дал.

Я задумался.

— Володя, почему она попросила?

— Сказать?

— Да, Володя, скажи.

— У нас совсем нет денег.

— А я думал, что маме просто нравится гулять по базару...

Мои слова Володя пропустил мимо ушей. Вскоре о них позабыл и я — нас ждали друзья с мячом, а кругом разливалась знойная сухумская теплынь. И кровь наша закипала...

ПОЧТИ ЗОЛОТОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАРАНДАША

Я смотрю старый снимок типа «кабинетный». Сделан он в фотографии «Прогресс» Козловым — известным в Сухуми фотографом, конкурентом Пименидаса и Ефкарпиди. Огромный герцовский объектив (светосила 2) походил на дырку в орудии береговой батареи. В больших деревянных кассетах помещались стеклянные пластинки со светочувствительной эмульсией. Козлов долго-долго «устанавливал» позу, долго примерял аппарат на резкость, а потом просил «не моргать и не шевелиться»...

Все это я помню очень хорошо, потому что один из трех детей, запечатленных на снимке, — самолично я. Слева от меня мой младший брат Володя (с сжатыми бойцовскими кулаками), а справа от меня — сестра Таня с бамбуковым посохом в руке. Мне двенадцать лет, я самый старший, и потому я — в середине.

Прошу вас, присмотритесь к этому снимку, обратите внимание на карандаш, который прикреплен к моему пиджаку (а может, френчу) посредством замечательного держателя цветом в серебро (штука 3 коп.). Карандаш был постоянно при мне — не простой, химический. Не помню, чтобы часто пользовался им вне дома. Разве это главное? Важно, что он всегда под рукой. Скорее всего это была принадлежность костюма, его неотъемлемая часть. Я берег карандаш пуще глаза. И не столько его, сколько держатель. Идя в фотографию, разумеется, с отцом, я проверил, на месте ли карандаш.

И как бы ни радовался своему держателю, мое тщеславие не было полностью удовлетворено. Дело в том, что у одного мальчика... Нет, вру! Один мальчик рассказал мне, что видел у незнакомого мальчика держатель из золота.

— Как — золота? — удивился я.

— Очень просто. Такой желтый, блестящий.

Это сообщение меня потрясло. Мое потрясение передалось брату, от него — нашим друзьям. Я пытался выяснить, кто этот мальчик, где живет обладатель чудесного держателя. Но этого никто не мог сказать.

Мой держатель из белой жести кое-что потерял в моих глазах. Не могу сказать, что именно, но определенно — кое-что. Я продолжал беречь его пуще глаза, но на душе моей стало мутно: я-то думал, что обладаю вещью, неповторимой в своем роде. А оказывается... Да, жил где-то мальчик, обладавший абсолютно прекрасной вещью. Дело не в золоте. О, нет! А в том, что есть, вероятно, в том держателе нечто более существенное, чем золото. Может, он прочней. Может, много краше... И так далее, и тому подобное...

А жизнь тем временем продолжалась... Я ходил в школу, играл в футбол до изнеможения. Время от времени бегал в кинематограф вместе с братом и близкими друзьями... Лазал по соседним невысоким строениям. Но что бы ни делал, где бы ни был я — из головы не шел тот золотой держатель карандаша. Именно его не хватало мне для полного счастья. Мой жестяной держатель уже казался мне чужим. Я бы не очень горевал, если бы потерял его на веки вечные. О чем, собственно, горевать, если есть на свете держатели почище моего?..

И вот однажды меня ошеломил брат. Он вызвал меня из толпы дерущихся по какому-то пустяковому поводу юных футболистов, взял меня за пуговицу рубашки и заговорщически произнес:

— А я видел его... — И замолчал.

— Кого? — спросил я, предчувствуя нечто особенное.

— Как — кого? Его. Сам, собственными глазами!

— Володя, — сказал я серьезно, — это секрет?

— Нет. Не секрет. Могу сказать, где видел.

— Тогда говори.

Он положил руку мне на плечо. И начал тоном абхазского сказочника:

— Шел я, шел... Шел вместе с Женей... Я ему рассказывал про Тарзана, а он мне — про Мазамета. И вот Женя говорит: «Хочешь выпить газированной воды?»

— Володя, — говорю я строго, — ребята меня ждут. Можешь ты говорить яснее, а главное — короче?

— Могу.

— Так давай!

— Ты знаешь книжный магазин?

— Знаю.

— А напротив — что?

— Писчебумажный.

Володя озирался — не подслушивает ли кто.

— Я видел золотой держатель.

У меня перехватило дыхание.

— Врешь! — прохрипел я.

— Клянусь бабушкой!

— Золотой?

— Золотой. Или почти золотой.

— Продается?

— Да.

— И сколько же стоит? — Я задал этот вопрос и чуть не упал от полного нервного или еще какого-то истощения (кажется, это по-научному коллапс называется).

— Семь копеек.

— Сколько?! — поразился я.

— Семь!

Володя знал, что говорит. Он понимал, кому говорит. И моя реакция не была для него неожиданной.

Я схватился за голову:

— Семь? Целых семь?!

Он обнял меня, потому что неведомая сила качнула меня влево.

Потом мы присели на траву.

— Наверное, золотой, — сказал я.

— Это видно по цене, — сказал брат.

— Да, заломили черти!

— Это же целых четырнадцать ирисок...

— Да.

— Или семь стаканов соук-су...

— Да семь стаканов холодной воды...

Цена подавляла. Меня словно стеганули кнутом сухумского извозчика. А что если это брехня? Я вмиг вскочил и побежал. К магазину. Володя — за мной.

Бегу — и не верится... Бегу — и надеюсь... Бегу — нет! — лечу на крыльях.

Вот пекарня грека Демьяна...

Вот вторая городская аптека...

Вот лавка пекаря Харлампия...

Мы мчимся быстрее ветра. И — наконец... Где? Где? Где? Я мечусь возле широкой витрины: вранье! Брехня! Трепотня!

Но вот Володя останавливает меня. Потом прикладывает палец к стеклу:

— Видишь?

— Не слепой — вижу!

Они самые... Множество золотых держателей. И каждый из них по

семь копеек. От удивления или неожиданности я каменею. Я пригвожден к тротуару возле витрины. И я слышу, как во сне, голос брата:

— Теперь поверил?

Я плетусь домой. Да, привиделось чудо. Все правда! Но где же взята семь копеек? Целых семь!

Брат понимает меня без слов.

Когда мы пересекаем большую площадь, поросшую густой травой, Володя вдруг останавливается возле электрического столба. Смотрит себе под ноги, потом наверх, потом влево, потом вправо. Что с ним? Он очень, очень серьезен...

Володя отмеряет десять шагов, потом — десять влево... Наклоняется к земле, осторожно дергает траву... Неужели тайник?

Володя достает копейку и пустой флакончик из-под духов. Денежку отдает мне. А флакон снова прячет в тайник.

— Володя, насовсем? — говорю я, не веря в свою удачу.

— Насовсем... эту копейку подарила бабушка...

Я на седьмом небе. Мне тоже хочется сделать что-нибудь приятное для Володи. И я ему дарю «жареный» царский пятак — удачливый при игре в расхибалку.

Мой взгляд устремляется в туманную даль — к горам. Я считаю: семь минус единица...

— Володя, — говорю, — мне нужны еще шесть копеек.

Сколько же надо времени, чтобы скопить их? Месяц? Два? А вдруг разберут держатели? Ведь они почти золотые!

— Не разберут, — успокаивает Володя. И шепчет на ухо: — Есть у меня еще одна копейка...

Не знаю, что делать: плакать или смеяться от счастья?

В ЛИПНИЦЕ И УФЕ

Телефон зазвонил без десяти восемь. День был воскресный. Кто звонит так рано? Кто-нибудь из абхазцев. Не иначе...

И я не ошибся: со мной желал разговаривать Вианор Пачулия.

— В чем дело? — спрашиваю не без раздражения.

— Скоро же девять, — говорит он, оправдываясь.

— По какому времени? Московскому?

Пачулия молчит, по-видимому, что-то соображая, а потом радостно кричит в трубку:

— Нет, по сухумскому! Забыл перевести часы!.. Ладно, потом позвоню!.. — И хохочет...

— Нет уж, — говорю, — кто теперь уснет?.. В чем все-таки дело?

— Слушай внимательно. Меня интересуют погребальные сооружения...

— Что?!

— Погребальные сооружения..

Пачулиа — автор многих книг по истории Абхазии и краеведению, неутомимый популяризатор климата Черноморского побережья (якобы воспетого еще античными авторами) и прочих достопримечательностей, сотворенных предками абхазцев. Я спросонья немного желчен, и хочется добавить: благодаря его стараниям количество отдыхающих в Абхазии выросло за последний год на 12,3 процента. А может, наоборот...

Ехидно вопрошаю:

— Ты желаешь похоронить кого-нибудь?

— Наоборот, воскресить! — И хохочет.

— Ничего не понимаю, Вианор. Я уснул в три утра...

Цифру три он пропускает мимо ушей.

— На могиле Омара Хайяма бывал?

— Да,— говорю.— В Нишапуре.

— Погребальную камеру Хеопса видел?

— Да, полз к ней на четвереньках.

— А Перикл?.. Ты же писал о нем...

— Его могила потеряна.

— Ганнибала погребли где-то близ нынешнего Стамбула. Верно?

— Его могила тоже потеряна.

В чисто абхазской манере он удивляется:

— Черт возьми! А куда смотрели их родственники?!

Потом он просит срочно отыскать фотографии «погребальных сооружений», которые наверняка имеются у меня, и как ни в чем не бывало кладет трубку, потому что «явились известные ученые» (имярек).

И уже — хочу не хочу! — моя мысль работает в заданном Вианором направлении. Кое-что вспоминается. Особенно эти два случая, участником которых (смею утверждать, активным) являлся и я.

Это было в ноябре 1953 года.

Я прибыл в Прагу в составе делегации деятелей советской культуры. В одной из бесед с нами академик Зденек Неedly посоветовал:

— ...И непременно побывайте на Вышеграде. Там похоронены наши замечательные писатели, композиторы, художники. А какой оттуда открывается вид на Смихов! Просто чудо!

Вышеградское кладбище расположено на высоком месте. Осенняя прохлада уже чувствовалась. Градчаны — Пражский Кремль — красовались в туманной дали. Под нами расстилался пражский район Смихов, покрытый облачной, полупрозрачной дымкой.

На кладбище было торжественно и тихо.

Вот мы у могилы замечательной писательницы Вожены Немцовой, чьими книгами зачитываются до сих пор... Неподалеку от нее покоится свободолюбивый Ян Неруда. Его стихи волнуют людей всех возрастов, его книги — в каждом доме... Вот могилы общего любимца Сватоплука Чеха и замечательного Карела Чапека...

Вот и Бедржих Сметана... И Антонин Дворжак... Великие чудодеи музыкального искусства, внесшие неоценимый вклад в мировую культуру!..

Долго бродил я среди священных могил, которых отличала удивительная простота. Но не простыми были имена, которые были начертаны на камнях. Это они придавали памятникам особую значительность.

Многое повидал, о многом передумал на Вышеграде. А его так и не встретил. Я имею в виду Ярослава Гашека. Я полагал, что он где-то здесь, рядом, но почему-то не находил могилу...

Шофер Ян, который тоже бродил со мною, сказал, что хорошо знает пивную, где бывал Гашек, где висят рисунки Йозефа Лады, а вот где похоронен писатель — не знает. Если нет его на Вышеграде, то где же?.. Молодые литераторы, сопровождавшие нас, тоже не знали, где...

Ян сказал:

— Поедем в пивную, там все разузнаем...

В пивной долго беседовал Ян с официантами. Они показывали столик, на котором писались страницы «Швейка», рисунки, развешанные по разным углам. Мы с Яном выпили по кружке пльзенского... С тем и уехали.

Вечером за ужином я спросил нескольких литераторов все о том же. Они недоумевали: «Гашек? Разве не на Вышеграде?..» Один из них, пожилой, сухощавый, добавил:

— Да, он здорово нас высмеял.

— Кого — нас? — удивился я.

— Чехов, разумеется. Другое дело — наша Немцова, наш Ирасек...

Я насторожился. Мой коллега показался немножко обиженным. Гашек — чудо-писатель, принесший своей родной литературе мировое признание... Неужели это он, обидчик?..

— А Чапек? — спросили меня с укоризной.

— И Чапек, конечно! Но Гашек единственный, неповторимый... — Я сыпал определениями, подыскивая наилучшие из них.

Меня слушали вежливо. Не спорили. Но и поддержки я не ощущал... Понемногу начал понимать, почему литературный словарь Отто 1923 года даже не включает имени Гашека, а литературовед Арне Новак в 1933 году писал, что Гашека «нельзя считать серьезным писателем»... «Особое» отношение к Гашеку, по-видимому, все еще давало знать о себе...

— Я должен побывать на его могиле, — сказал я.

Кто-то посоветовал узнать о ней у Здены Анчика, поклонника творчества Гашека, знающего все о нем...

Писателя Анчика разыскал на следующий день. И он сказал мне:

— Могила его в Липнице. На местном кладбище. На краю его. На бугорке.

Через час мы с Яном ехали на «Татре» в сторону Липнице.

— До него сто с лишним километров, — сказал Ян. — Надо ехать на юго-восток.

На моей карте, которую купил в Праге, Липнице не был обозначен. А ведь говорили, что он город. С 1370 года. Что в Липнице есть замок. О нем писали еще в 1316 году. Что полное название города Липнице-над-Сазовой.

Гашек в середине 1922 года купил здесь домик «под замком». К концу года здоровье писателя резко ухудшилось. Но лечиться не желал. Любил посидеть в трактире «У мухи». Вскоре «У мухи» оказался вне пределов его досягаемости. Тогда Гашек спешно строит пивную совсем рядом, сзывает друзей, — одиночество неумоготу. И умирает в самом начале 1923 года в возрасте сорока лет...

Нас с Яном проводили к могиле. Я был потрясен: самодельная цементная плита... С глубокой трещиной посредине. Чем-то острым нацарапано «Гашек». Вокруг могилы — высокая трава, у головы — крапива. Никакой ограды...

Я положил на его грудь цветы...

И в тот же вечер, на приеме, улучив минутку, рассказал о виденном в Липнице высокому пражскому начальству. Потом беседовал на эту же тему с чешскими писателями. И с их руководством тоже.

Давно это было.

Сейчас, как мне рассказали, на могиле Гашека — мраморное надгробие. Оно в виде раскрытой книги. Столетие писателя было торжественно отмечено, и в Праге поставлен ему большой памятник... Что же, Гашек заслужил это своим великим талантом.

Год спустя после Праги довелось мне побывать в Уфе. Приехал я сюда с делегацией литераторов-москвичей на съезд башкирских писателей. Вспомнил, что Гашек попал в Уфу вместе с частями Красной Армии в 1919 году. После Уфы — Сибирь. Из Сибири — в Москву. А проездом — он снова в Уфе...

На родине Салавата Юлаева меня интересовало все. В первую очередь, разумеется, литература. По книгам я знал многих писателей. Личное же знакомство с автором вызывает особенное чувство при чтении его произведения. Большое удовольствие доставили беседы с Сайфи Кудашем, Акрамом Вали, Рашитом Нигмати, Баязитом Викбаем, Ханифом Каримом и совсем молодым тогда Мустаем Каримом, ныне известным далеко за пределами Башкирии.

Мне предстояло выступить с кратким словом на съезде писателей. Постарался прочитать почти все, что переведено на русский из произведений Мажита Гафури. По праву он считается основоположником башкирской советской литературы. Он родился в 1880 году в семье сельского учителя. Трудным оказались его детство и юность, рано познал он горе и нужду. В тринадцать лет Мажит (полное имя Габдулмажит) осиротел, пришлось ему идти в батраки, одно время прислуживал детям богатеев. Скитался по аулам в поисках лучшей доли. Но ни на час не выпускал из рук книгу — набирался знаний. Жизнь была для него суровым, но верным учителем. В 1905 году Мажит уезжает в Казань. Здесь он участвует в студенческих демонстрациях. Через год возвращается в Уфу. Его сборники стихов конфискуются цензурой.

Хождения по башкирской земле хоть и были нелегкими и горек был хлеб поэта, однако Гафури ближе познакомился с народным творчеством во всем его многообразии. В своих скитаниях по аулам он почерпнул богатейший материал. А первая русская революция и русская литература благотворно формировали его политическое и эстетическое мировоззрение. Гафури определяется в самом главном и важном: он с народом против угнетателей. Это главное он и выражает в своих стихах, а в дни Октябрьской революции страстно приветствует приход новой жизни. С этой поры особенно расцветает писательский талант Гафури. В 1923 году ему присваивается звание народного поэта.

Меня интересовала также короткая, но прекрасная жизнь Салавата Юлаева, сподвижника Пугачева. Салават до конца оставался верным своему боевому командиру, символизируя дружбу башкирского и русского народов. Сказители в Башкирии читали стихи, которые приписывали Салавату, сгинувшему на чужбине... Впоследствии стихи эти были записаны и изданы в Уфе.

Для себя я решил, что непременно посетю могилу Гафури. И недолго думая попросил шофера, с которым ездил полюбоваться прекрасной рекой Агидель, повернуть на кладбище. Были со мною и двое молодых поэтов. Мы, естественно, поехали туда, где покоились многие башкирские писатели.

Но так же, как и на Вышеграде, меня ожидало разочарование: могилу Гафури обнаружить не удалось. Я спрашивал своих спутников:

— Вы бывали на его могиле?

— Нет, — отвечали они.

— Вы уверены, что он похоронен именно здесь?

Они пожимали плечами.

Вскоре в Союзе писателей нам сказали, что Гафури был погребен с большими почестями в 1934 году на высоком берегу Агидели. В городском парке... Туда и поспешили.

Да, мы обнаружили могилу Гафури. Возле ограды. Поближе к улице.

Я был смущен. Мои молодые башкирские друзья тоже. И было отчего: могила поросла травой...

На небольшом совещании, где говорилось о предстоящем съезде писателей, я заявил, что московская делегация перед открытием съезда (то есть завтра) возложит венок на могилу Гафури.

— Конечно, конечно,— сказали мои башкирские друзья.

Когда приезжие гости явились в парк, они увидели любовно прибранную могилу. Дорожки к ней и вокруг нее тоже были приведены в порядок. С глубоким почтением к имени Мажита Гафури были положены венки и цветы на его могилу. (Этот момент запечатлен в местных газетах.)

Недавно мой друг, талантливый башкирский писатель Ахияр Хакимов сообщил мне:

— Парк, где рядом с выдающимися сыновьями Башкирии погребен Гафури,— один из самых красивых уголков Уфы. На могиле поэта мраморная доска с его барельефным портретом. Здесь круглый год цветы. Башкирский драматический театр в Уфе носит имя Гафури. А перед театром высится прекрасной работы памятник народному поэту...

Утренний разговор с Вианором Пачулиа невольно воскресил мои давнишние липницкие и уфимские воспоминания. Я хочу попросить его включить их в книгу «О погребальных сооружениях», буде ей суждено увидеть свет. Время безжалостно к памяти, оно пытается стереть ее. В нашей власти обеспечить ей долгую жизнь.

РАССКАЗ О РАССКАЗЕ

Вот эта моя книжка: беленькая, тоненькая. В ней восемь рассказов. Вторым называется «Человек с нимбом».

Это не о святом. Но о человеке, который в глубине души почитал себя святым. Он ловко орудовал резцом и в нужный момент — кинжалом.

Был он горяч, неистов в работе. Его Персея с головой Медузы я видел на флорентийской площади, а скульптурный портрет самого — недалеко от Персея — на мосту через Арно.

Звали его Бенвенуто Челлини.

Я познакомился с ним в Сухуми, будучи молодым человеком. Это было нетрудно, поскольку я стал обладателем замечательнейшей из книг, название которой многое объяснит: «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции». Отметим, что писалась эта книга в середине шестнадцатого века.

С первых же страниц ее я понял, что имею дело с автором малограмотным. А до того наивно полагал, что книги пишут только люди грамотные. Но вот удивительно: оторваться от этой книги было невозможно. И я, что называется, проглотил пухлый том академического издания, которому была предпослана великолепная статья ныне покойного Дживелегова.

Проглотил и почувствовал себя не в своей тарелке. То есть настолько не в своей, что захотелось немедленно засесть за роман. Именно за роман! Меня всего распирало от доселе неведомого мне чувства, которое я по неопытности тотчас же окрестил вдохновением.

Своими планами я поделился с талантливым сухумским писателем Андро Жвания. К своему удивлению, я услышал слова, смысл которых уразумел не вдруг.

— Бенвенуто! — воскликнул Арно. — Гений! Скульптор — гениальный! Чеканщик — гениальный! Писатель — гениальный! Начал писать о нем пьесу.

— Кто начал? — задал я вопрос.

— Как кто? Конечно же, я! — Андро ликовал. Он произнес длинный монолог, в котором слово «гениальный» повторял дважды, а то и трижды в каждой фразе.

Мы беседовали на берегу моря, и эпитет напрашивался сам собою: безбрежный, как море. Это о таланте Бенвенуто Челлини.

После этой встречи я вдохновился еще больше. Мы с Андро жили на одной улице, но в разных концах ее. Наши перья скрипели, выводя италяньское имя Бенвенуто.

Поскольку я писал роман, то должен был он начинаться с самого начала, то есть с детства Бенвенуто. Разумеется, различные семейные картины должны занимать в романе достойное место.

Значит, так...

Флоренция...

Семейный очаг... Юный Челлини... Саламандра в огне... Которая привиделась Челлини... И прочее...

Значит, Флоренция...

Наверное, надо описать дом, двор, городские улицы, площади, реку Арно... Кстати, как одевались в то время?

Книга Челлини под рукой. Она — верное подспорье. И листок за листком заполняются главами романа «Бенвенуто Челлини».

Нет, заглавие не годится...

После долгих поисков я останавливаюсь на «Неистовом Челлини». Этого заглавия хватает всего на месяц. Впереди еще один месяц каникул. (Я был студентом института путей сообщения.)

Через месяц на титульном листе появляется новый заголовок: «Неистовый Бенвенуто». Количество испещренных чернильными строками листков доходит до сотни. Или около того...

На бульваре снова встречаю Андро. Он сообщает:

— Закончил первый акт.

— Неужели?

— Да, закончил. Сам понимаешь: первый акт — это завязка. Завязка должна быть крепкая. Дальше будет легче.

Черт возьми, а мне, наоборот, все труднее. Первые страницы писались сами собою, а дальше медленнее. И наконец, стоп машина! Как на пароходе, который причалил к пристани. Но я никуда не причалил. Просто не могу выбраться за пределы двора Челлини, на улицу. Кстати, какая была эта улица? С виду. Бульжная? Или грунтовая? Пыльная? И какие строения теснились на ней?

К концу летних каникул становится очевидным, что мне недостает всего-навсего зрительных впечатлений. Например: какие закаты во Флоренции; где находился дом Челлини по отношению к мосту через Арно? Далеко ли располагалась мастерская Микеланджело, которого обожествлял Челлини? И вообще: что есть Флоренция, какова собою и с чем ее едят, если прибегать к фразеологии самого Бенвенуто?

И я кое-что понял.

Поняв кое-что, порвал написанное (примерно сотню страниц) и принял за изучение «статик сооружений» и «триангуляционной съемки». И все-таки я ощущал горький осадок на душе. Осадок был тем острее, чем больше узнавал новостей от Андро Жвания.

— Я сконструировал весь третий акт, — говорил он.

— Сколько же актов задумано?

— Не могу сказать, — говорил Арно.

— Приблизительно...

— Может, даже пять...

«Счастливчик, — думал я, — не нужна ему бульжная мостовая Флоренции, ни цвет воды Арно, ни фасад Уффици».

Я взялся за новое прочтение книги Бенвенуто Челлини. Против своего обыкновения начал делать пометки на полях. И чем больше вчитывался в текст, тем лучше понимал, что правильно поступил, изорвав в клочья свою рукопись. Осечка была явная...

Прошли годы...

Я стал инженером. Потом сделался журналистом. Усердно занимался рисованием. Работал на посту начальника Управления искусств Абхазии. Прошли тяжелые военные времена. И снова...

Вот именно, снова попалась на глаза эта потрясающая книга. Я заново проглядел ее всю, задумался над своими пометками. И в один прекрасный вечер засел, полный решимости написать нечто о своем Бенвенуто. А это нечто будет просто повесть. В ней не надо будет излагать всю жизнь Бенвенуто. А, собственно, почему это излагать? Она уже изложена. Не кем-нибудь, но «им самим». Что же я могу добавить?

А вот что: выпятить в жизни Бенвенуто главное, то есть те эпизоды, которые более всего выявляют творческую мощь Бенвенуто. То есть

самое любопытное в ваянии и чеканке. То есть показать только сильные стороны Бенвенуто-артиста в высоком смысле слова.

Стояла абхазская весна. Небо было голубое. Зелень вся зеленая. Море шумело так, что до меня доносился его рокот. Мне казалось, что оно чем-то недовольно. И я тоже был недоволен тем, что с Бенвенуто у меня не клеилось. Недоставало чего-то, чего, по словам Бенвенуто, в аптеке не купишь. Надо ли говорить, что повести не получилось? Так же, как и романа.

Я, разумеется, очень огорчился. Изорвал рукопись и пошел прогуляться на бульвар. Андро стоял у каменного парапета и глядел на море. Увидев меня, он сказал словно бы для того, чтобы позлить меня:

— Я пьесу вчера закончил...

Снова пошли годы за годами.

Я уже работал в «Литературной газете» и выкинул из головы и роман и повесть о Бенвенуто. Но когда мне довелось побывать в Италии, я первым делом решил посетить места, где могла ступать нога Бенвенуто,— в Риме, во Флоренции, в Неаполе... В Риме, в замке святого Ангела, где некоторое время сидел в заточении Бенвенуто, я обошел все закоулки. Гадал: где тот закуток, куда упрятали чудесного Бенвенуто, и тот уголок, откуда самодеятельный пушкарь Бенвенуто вел огонь по осаждавшему замок врагу? Вот как об этом пишет неподражаемый сочинитель Бенвенуто: «...узнав, что ко мне идут с приказом не стрелять, запалил в полупушку, которая у меня была, каковая попала в столп во дворе этого дома, где я видел прислонившимся множество людей. Этот выстрел причинил врагам столь великий вред, что они готовы были покинуть дом. Этот кардинал Орсино сказанный хотел меня велеть повесить или убить во что бы то ни стало; прочти чего папа смело меня защищал. Громкие слова, которые между ними довелись, хоть я их и знаю, но так как не мое ремесло писать истории, то мне нет надобности их говорить; а буду заниматься только своим делом».

Я спросил себя: «Можно ли лучше выразить то, что сказал своими собственными словами неподражаемый Бенвенуто?». Я ответил себе: «Нет, нельзя». Поэтому, бегло осмотрев окрестности замка святого Ангела, я отправился в Колизей, который Бенвенуто именовал Кулизеем. Здесь, в Колизее, Бенвенуто проводил «некромантические опыты». «Мы отправились в Кулизей,— пишет Бенвенуто,— и там священник, нарядившись по способу некромантов, принялся чертить круги на земле, с самыми чудесными церемониями...»

И вы полагаете, что «возвышеннейшего ума священник» не вызвал духов? Ничего подобного!

Слушайте же:

«Длилась эта штука полтора с лишним часа; явилось несколько легионов, так что Кулизей был весь переполнен»... «Бенвенуто,

попроси их о чем-нибудь». Я сказал, чтобы они сделали так, чтобы я был опять со своей Анделикой, сицилианкой»...

Я, тщательно осмотрев Колизей, подумал, что здесь ночью порой могут представиться сколько угодно «легионов». Думаю, что это не самое уютное место, куда священник привел доверчивого Бенвенуто.

Моим переводчиком и чичероне в Риме был молодой Умберто. Я попросил его показать места, которые мог видеть или где бывал Бенвенуто.

— Где угодно, — сказал Умберто. — В Ватикане. В замке святого Ангела. В Колизее. На берегах Тибра. На Капитолии. На всех холмах. Можно поехать во Флоренцию и Неаполь...

Челлиниевского «Персея» с головой Медузы, установленного недалеко от галереи Уффици во Флоренции, я рассматривал подолгу и со всех сторон. На меня почему-то большее впечатление произвела давнишняя фотография с восковой модели Персея, напечатанная в книге Челлини. Может быть, оттого, что сам постамент отвлекает много внимания? Или слишком велико «помещение», в котором установлен «Персей»? Я не могу определенно ответить на этот вопрос. Но знаю: любой ответ может быть оспорен...

Итак, я уезжал из Италии, достаточно познакомившись с небом Флоренции, Неаполя и Рима, а до этого — Парижа, где тоже жил и работал мастер Бенвенуто Челлини. И только тут я понял, что писать повесть или роман о Челлини просто бессмысленно. Ибо и то и другое уже написано им самим. Притом неподражаемо.

Но руки мои чесались все сорок лет. Я хотел писать о Челлини. Я не мог не писать.

И вот написал...

Всего десять страничек. Рассказ. И назвал его «Человек с нимбом». Артист верил, что вокруг головы у него сверкает нимб. Правда, он виден не всегда и видят его не все. Для того, чтобы узреть этот самый нимб, должно быть раннее, розное утро. А где такие подходящие утра? Разумеется, на юге Франции.

В груди этого флорентийца кипели бурные страсти. Но самая сильная и яркая была одна — страсть к работе. Работа — а потом все остальное. И вся эта толстая книга, наполненная горячей страстью, каждая страница ее есть гимн труду мастера золотых дел, чеканки и скульптуры.

Мастера надували многие: женщины, просто князя и князя церкви, а то и друзья. Ему должны были многие. Даже Ватикан. Однако Бенвенуто не сдавался. Когда становилось особенно худо на душе и в кармане, он погружался в работу. Работая, забывал обо всем. Его материалом часто бывало золото. Это золото превращалось порой в обычные слитки, и великий труд мастера исчезал навсегда. Больше повезло его скульптуре. По ней мы можем судить о великих возможностях Челлини.

Знал ли сам Челлини цену своей книге? Не думаю. Но первым определил ее истинную ценность не кто иной, как первый ее редактор, Бенедетто Варки. Он показал себя непревзойденным редактором, ибо не притронулся к рукописи. Вот что пишет по этому поводу Бенвенуто: «...ваша милость мне говорит, что эта простая речь о моей жизни больше вас удовлетворяет в этом чистом виде нежели будучи подскобленной и подправленной другими, чем показалось бы не настолько правдой, насколько я писал»...

Что я мог положить рядом с этой книгой? На худой конец только короткий рассказ. Рассказ, в котором была бы сделана попытка показать Челлини в будничной ситуации. Это в конце концов дало бы выход чему-то непонятному и трудно объяснимому, задуманному мною еще сорок лет назад.

Дело сделано. Однако я не знаю, что означают эти десять листочков, которым сорок лет. Стоила ли игра свеч? Это вопрос не риторический, если иметь в виду, что давно существует опера «Бенвенуто Челлини» и есть уже в русском переводе пьеса, написанная в Сухуми и изданная в Москве. Попав в подобное положение, Бенвенуто, возможно, сказал бы так: «Кашу маслом не испортишь». Следуя этой премудрости, я отсылаю любопытных к вышеназванному (в самом начале) изданию и небольшому рассказу в нем, озаглавленному «Человек с нимбом».

Dixi!

СУДЬБА

Что такое судьба? Стечение обстоятельств? Пожалуй. Но я бы добавил: не совсем обычное стечение. А, может, еще точнее: совершенно необычное? Я задаю себе эти вопросы не ради досужего времяпрепровождения. Они приходят всякий раз сами собою, когда я думаю о судьбе отпрыска польских аристократов, родившегося под Бердичевом, — Юзефе Теодоре Конраде Коженевском, сыне Аполло Коженевского.

Родным языком Юзефа был польский. Второй язык, которым прекрасно владел Юзеф, — язык многих аристократических семей — французский.

Он родился вдали от моря. Степи и широкие холмистые края были его родной стихией. А стал он певцом стихии морской и людей, связанных с морем.

До двадцати одного года он, можно сказать, и слухом не слыхивал английского, а под конец жизни сделался великим английским писателем. Среди его друзей были Голсуорси, Киплинг, Уэллс,

Честертон. А в 1924 году Эрнест Хемингуэй напишет в некрологе о нем такие слова: «И вот теперь, когда он мертв, я вопрошаю небо, неужели нельзя было прибрать вместо него какую-нибудь признанную литературную знаменитость»... Этот писатель, чей акцент до конца своих дней выдавал в нем иностранца, остался в английской литературе как создатель своего неповторимого стиля, о нем пишутся сотни исследований, словарный запас слов его книг потрясающе велик, и с годами фигура его в литературе не только не отдаляется от современности, но, скорее, приближается.

Таков этот удивительный литературный феномен, если угодно, такова судьба Юзефа Коженевского, мальчика из-под Бердичева...

Родился Юзеф 6 декабря 1857 года. Отец его был поэт, много переводил с французского на польский. Пани Коженевскую звали Эвелина.

Аполло страдал легкими — развивалась чахотка. Поэтому ссыльному польскому революционеру разрешили из Вологодской губернии перебраться на Юг, в Чернигов. Здесь пани Эвелина скончалась от чахотки. Аполло Коженевский переехал во Львов, позже — в Краков. И умер тоже от чахотки. Юзеф попал под опеку родственников.

Наверное, достоверно никто уже не скажет, почему Юзефа тянуло к морю, в экзотические южные страны. Потому что сам он тоже не мог этого сказать. Тянуло — и все! Надо думать, что это было начало той цепочки, которую принято называть Судьбой. Она, эта цепочка, привела Юзефа-юношу в Марсель. А Марсель — это уже море.

Из Средиземного можно было попасть на океанские просторы.

А откуда навыки морской трудоемкой службы на небольших судах.

Пытался ли юноша пробовать силы в письме? Трудно сказать. Но вероятнее всего да. Как и все мы в молодые годы, тем более что покойный отец его в этом отношении служил в некотором роде образцом.

Юзефу перевалило за двадцать. Надо было возвращаться на родину, чтобы отбывать воинскую повинность. Ему грозило увольнение с работы, — по тогдашним международным, точнее европейским, нормам полагалось отбывать повинность на родине. А как быть с морем? Как быть с экзотическими странами — мечтой всего детства?

Был один выход: уехать туда, где европейскую формальность можно было обойти без особого труда. Кто подсказал это слово: Англия? Неизвестно. Зато достоверно другое: в один прекрасный день Юзеф высадился в Англии. Где? Может, в Лондоне.

— Нет, не в Лондоне...

Мой собеседник, ученый-филолог Дмитрий Урнов, называет другой порт. А именно:

— Лоустофт.

Отсюда шли корабли во все концы Британской империи — перевозили уголь и шерсть. Здесь можно было наняться на корабль легче, чем в Лондоне.

Что делать молодому человеку в стране, где ничего не понятно, кроме слова «мистер» и слова «сэр»? Не знаю, можно ли описать вполне достоверно состояние человека, по существу, немного, но желающего жить и работать в избранной им среде? Однако приходилось привыкать — тут уж ничего не попишешь! Возможно, помогала способность к усвоению языков. Быть может, даже наследственная...

Вот еще один поворот в судьбе — этой развивающейся субстанции. Еще одно звено в цепочке...

Идет время. Юзеф не сидит сложа руки. Он сдает экзамен на помощника капитана. Уходит в далекие моря. И где только не суждено было ему побывать?! Сбылись детские мечтания! Его корабль неустанно бороздит моря-океаны.

Но это не путешествия ради путешествия. Труд, тяжелый морской труд.

Дмитрий Урнов говорит:

— Я знал лично сына писателя — Бориса Конрада. Он вспоминал отца и его друзей, свою мать Джесси, прикованную с давних лет к креслу из-за болезни ног. Джесси Конрад написала хорошие воспоминания о своем муже. Правда, кое-что попыталась приукрасить, но это ничуть не умаляет ее труда.

Что же можно сказать о Юзефе или Джозефе-капитане? За двадцать лет службы на английских кораблях он испил полную чашу тревог, мужая в борьбе с бушующими морями-океанами. Не раз грозила ему гибель. Не раз, наверное, прощался с жизнью. Не раз стоял над бездной — на волосок от смерти.

— А он публиковал что-нибудь, плавая по морям и океанам?

— Нет. Но, наверное, что-то записывал. Может, даже сочинял рассказы.

Юзеф Конрад Коженевский — Джозеф Конрад — плывал помощником капитана. Сколько бы еще проплавал помощником? Пять, десять лет?.. Уже позади восьмидесятый год. Состоялась встреча с девяностым...

Он уже посмотрелся всяческих морских бед. Сам бывал в беде. Был ли он хорошим моряком? Да! Наверняка! Компания не держала бы неопытного и недостаточно мужественного помощника капитана.

Где только не побывал моряк Джозеф Конрад! Он плыл на Восток, плыл на Запад, и на Юг, и на Север! Он видел порты, о которых мечталось в детстве. Ступал на острова и материи, которые когда-то ему только снились. Видел моря спокойные и рычащие, ласковые

и грозившие неминуемой смертью. Верно все, что он перевидел за двадцать лет плавания. Но видел и нечто большее. А большее — вот что: людей, которые противостояли опасности, принимали ее на грудь, как принимает на грудь снежную лавину сказочный богатырь.

Люди, люди... Их в пору было бы назвать полубогами, а то и богами. В неизмеримо тяжелые часы они становились поперек неукротимой стихии. И, казалось, озверевшие валы отступали от них, как от гранитных скал.

И когда думалось о море, то неизменно вставали образы непокорных и смелых людей. Это были как бы две ипостаси одной и той же стихии, являющей космогоническую мощь, которой по плечу мирозданческие столпотворения. Но бывали и черные минуты: и тогда моряк шел ко дну, уверенный, что и после него на корабле будет железный порядок. Вот о таких-то людях часто думал первый помощник капитанов английских кораблей (числом восемнадцать). И он напишет: «Валы набегали со всех сторон... — Выдержит ли судно? — старший помощник Джакс ничего не ждал в ответ. Решительно ничего. Да и какой можно было дать ответ? Но спустя некоторое время он с изумлением услышал хрупкий голос, звук-карлик, не побежденный в чудовищной сумятице: — может выдержать!»

Может выдержать! Так думал Человек моря, который привлекал к себе и изумлял Джозефа Конрада. А не был ли он сам одним из них?

Послушаем Дмитрия Урнова:

— В его книгах рассказывается о кораблях, о землях отдаленных и экзотических, о бурях в открытом море, об отважных матросах и капитанах. Многое рассказал мне о своем отважном отце Борис Конрад, которого знал хорошо и который уже мертв.

— А что, Джозеф так и проплавал все двадцать лет, продвигаясь вверх до первого помощника капитана?

— Нет. В один прекрасный день сделался капитаном. Его начальник неожиданно скончался, и его заменил Конрад. Это было в далекой гавани. Последний рейс Конрад проделал уже в ранге капитана. Потом сошел на берег.

— Писателем?

— Да, писателем, которого довольно быстро оценили собратья по перу.

— Кто, например?

— Голсуорси. Самый первый.

Случилось это так...

Речь пойдет еще об одном очень важном звене в цепочке той самой неделимой Судьбы, о которой говорилось в начале нашего рассказа...

Джон Голсуорси поплыл на свидание со Стивенсоном, автором «Острова сокровищ». Не куда-нибудь, а на самые острова Самоа. И на обратном пути (кажется, на обратном) в австралийском порту Аделаида он встречается со старшим помощником капитана неким Джозефом Конрадом. Об этом Голсуорси пишет так:

«Впервые я встретил Конрада в марте 1893 года на английском паруснике «Торренс» в Аделаиде. Он руководил погрузкой. На палящем солнце лицо его казалось очень темным — загорелое лицо с острой каштановой бородкой, почти черные волосы и темно-карие глаза под складками тяжелых век. Он был худ, но широк в плечах, невысокого роста, чуть сутулый, с очень длинными руками. Он заговорил со мной с сильным иностранным акцентом. Странно было видеть его на английском корабле. Я пробыл с ним в море пятьдесят шесть дней»...

Об этом плавании известно еще следующее: здесь, на корабле, Голсуорси прочитал рукопись Конрада. И Голсуорси поразился: перед ним был настоящий, очень любопытный писатель, доселе никому неизвестный.

Голсуорси продолжает:

«У Конрада, великолепного рассказчика, уже было за плечами около двадцати лет, о которых стоило рассказать».

Что же сделал Голсуорси, открыв писателя Конрада в образе старшего помощника капитана английского парусника «Торренс»? Он, естественно, заинтересовался, кого из издателей знает Конрад. Разумеется, никого. Не до них было. И тогда Голсуорси связывает Конрада с консультантом одного из крупных издательств Эдвардом Гарнетом и издательским агентом Пинкером. И многие годы Конрад, по существу, живет на пинкеровских кредитах...

Послушаем Урнова:

— Голсуорси считается первооткрывателем Конрада, хотя по возрасту он был много моложе. Голсуорси не был еще знаменитым писателем. И богатым тоже. Отправился в паломничество к Стивенсону. Не доплыв до островов Самоа, из порта Аделаида Голсуорси возвратился на «Торренсе» в Англию.

Некоторые критики называют Голсуорси крестным отцом Конрада. А Голсуорси пишет: «Тогда, на корабле, он говорил не о литературе, а о жизни, и неверно, будто это я приобщил его к литературе». И далее: «...из всех впечатлений этого путешествия он (вечер) останется для

меня самым памятным. Обаяние было главной чертою Конрада — обаяние богатой одаренности и вкуса к жизни...

Итак, после двадцатилетнего скитания по морям и океанам на английский берег сошел зрелый писатель. Все при нем: и богатый жизненный опыт, свой мир «труженников моря» и свой язык, неповторимый конрадовский английский язык. Он правильный и неправильный, он английский и не английский. Он понятный и не совсем «чистый», но бесконечно увлекательный и красочный.

С Конрадом дружат знаменитые писатели. О нем пишет, как о крупном английском писателе, американец Генри Джеймс, переселившийся в Англию, автор «Вашингтонской площади» и многих других книг.

Можно вообразить такой диалог за спиной писателя:

- Позвольте, кто это?
- Джозеф Конрад.
- Тот самый?
- Да, талантливый литератор.
- Он иностранец?
- Да, поляк.
- Так он пишет не по-польски?

— Нет, в шутку о себе говорит так: бредит, когда болен, по-польски, думает по-французски, но пишет по-английски.

Итак, в начале нашего века за ним утверждается репутация прекрасного писателя. Но это в литературных кругах. Среди издателей. Среди критиков и журналистов. О нем говорят так: море подарило Англии прекрасного писателя.

Случился с Конрадом еще один, довольно крутой поворот. Но это уже не судьба. Скорее, прихоть литературной жизни. Или прихоть читательская. Но об этом стоит поговорить. Мы увидим, как удивительно бывает эта прихоть. Можно придумать еще какое-либо другое прилагательное. Но ясно одно: пути литераторские, порой, неисповедимы. Речь идет вот о чем. Лучшие книги Конрада были написаны в конце прошлого и в начале нашего века. А наиболее слабые — после 1910 года. (Скончался Конрад в 1924-м, в графстве Кент.) Значит так: до 1910 года его ценят и знают главным образом в кругах литературных, скажем шире — интеллектуальных. В это время он испытывал постоянный дефицит в средствах. Широкая известность и денежный достаток пришли после 1910 года, то есть когда уже — не побоимся этого сказать, — когда перо писателя пошло на спад. По поводу этого

довольно часто встречающегося в литературном мире феномена Джон Голсуорси, которому верить можно и должно, пишет: «Можно ли считать естественным, что успех у широкой публики совпал с ухудшением качества? Или это всего лишь пример того, как трудно иностранцу пронять толстокожее животное, именуемое «читатель»? «...мы стали протирать глаза»... «но потребовалось двадцать лет, чтобы и публика его оценила и тем самым дала ему приличный доход».

Что тут сказать? Может, припомнить сакраментальное «судьба играет человеком»? И на самом ли деле играет? Мне дожившему до седых волос, хочется услышать и на этот счет чье-либо мудрое слово... Тем более что в замечательной книге Сомерсета Моэма я обнаружил следующее: «Мне было в то время девять лет. С произношением английских слов я долго не мог справиться, и я никогда не забуду, каким хохотом встречали в приготовительной школе мои неправильные ударения и как это меня смущало». Позвольте, и это говорит один из известнейших классиков английской литературы?

Идут годы.

Шестидесят с лишним лет отделяют нас от того времени, когда почил Конрад. С годами слава его все росла и росла. Его книги с полком «приключенческой литературы» перекочевали туда, где стоят тома, ставящие перед человечеством острее проблемы. Растет критическая литература о Конраде — ее уже целое море. Диссертации пишутся за диссертациями. Говорят, что в свое время Андре Жид специально изучил английский язык, чтобы прочесть Конрада в подлиннике. Прослыша об этом, Томас Манн тоже обратился к Конраду и — поразился.

Так обстоит дело с судьбою мальчика из-под Вердичева.

Скажем прямо: завидная Судьба!

ЭЗОП В ДЕЛЬФАХ

— Вы хотите знать, о чем он болтает?

Градоначальник отошел от окна, чтобы те, к кому обращался с этим вопросом, могли увидеть площадь и толпу на ней.

А обращался он к именитым горожанам Дельф, жрецам и глашатаям и чиновникам (особенно доверенным).

— Не слышу его слов, — сказал главный жрец храма Аполлона. Это был пожилой, осанистый, крепкий в костях человек.

— А хотите я передам его речь? — снова спросил градоначальник.

— Хотим, хотим,— раздались голоса.

Гераклид, градоначальник остроумный и хитрейший из людей лисей породы, ростом низкий, сухощавый от желчной болезни, набрав воздуха в легкие, разразился таким монологом:

— Граждане Дельф! Я прошел множество стадий, путешествуя по городам Эллады. И в прославленных Афинах побывал, и мудро-опытным Коринфе тоже, и у стойких спартанцев гостил. Не стану называть города и веси, где ступал я — утомленный и голодный. С тех пор, как покинул остров Самос, годы мои текли от олимпиады до олимпиады так, словно за мной гонялись львы: шел вперед, все вперед! Многое повидал. Мои глаза видели, как люди гнут спины, как тяжело достается краюха хлеба. А вы? Как живете вы? На чем вы иждивении? Аполлона? Зевса? Афины? Или всех богов, вместе взятых, восседающих на Олимпе?

Главный жрец заткнул себе уши:

— Не могу слушать! Это богохульство! Это предательство!

— Гераклид,— сказал мясоторговец,— неужели этот пришелец безнаказанно мечет все эти слова, словно рыба икринки?

— Вон он, как видишь. Болтает без умолку.

— Этот, с посохом в руке?

— Он самый.

— А говорили, горбун.

— Враки!

— Что урод он.

— Здоровяк он. А бороду отрастил от лени. Он же фригиец...

Кто-то возразил:

— А говорят — фракиец.

Гераклид вспылил:

— Что у него от фракийца? Те не раболепствуют. А этот — прирожденный раб. Раб некоего самосца по имени Иадмон.

— Раб? Отпущенный на волю.

— Похоже так.

— Родопида говорила о нем...

Градоначальника передернуло, точно его змея ужалила.

— Пусть она блудница, пусть телом своим зарабатывала золото в Египте, но осталась она человеком. Десятую долю нашим храмам даровала... А этот? Одно богохульство от него...

— Кажется, разошелся он,— сказал главный жрец,— палкой размахивает.

— Сбегай кто-нибудь и послушай его речи,— сказал градоначальник.— Верно ли их передал вам...

С места сорвался эдакий детина, вскормленный на харчах аполлонова храма.

— Сейчас же вернусь и все доложу,— крикнул он, вылетая за порог.

— Я скажу вам, я все скажу! — крикнул Эзоп, взмахивая посохом.— Правда должна царствовать не где-нибудь, а здесь, на нашей земле, где мы с вами то бродим, то ползаем, то колобродим.

Граждане Дельфов слушали его молча, насупившись, нахохлившись, словно куры перед ненастьем. Но были и такие, что, наострив уши, проглатывали каждое его слово, точно целебное зелье.

Кто-то распустил слух, что этот стихотворец по имени Эзоп слишком уродлив, что живот у него мешком, что и горб у него за спиной, и борода козлиная, что под стать он эфиопской обезьяне. Ничего подобного! Вполне благопристойный, в дорожной, поизносившейся одежде. В летах, но не очень больших. А говорит так складно и так умно, что иной заслушается и даже кое в чем усомнится, а усомнившись, останется при мозгах, которые Эзоп сумел повернуть набекрень. Поэтому-то очень, очень настороженно отнеслись к Эзопу в Дельфах — и старые и молодые, особенно богатые...

А Эзоп разглагольствовал:

— Что есть басня? Это мы с вами. Все, что приключается со мной, с вами, с каждым из нас. Однако оставим эти разговоры о баснях для риторов. Лучше поговорим о жизни, или, как выражаются на Самосе, поговорим за жизнь. В самом деле, что есть жизнь, скажем, в Дельфах? Это сказка, в которой не жнут, не пашут, не сеют, а хлеба пекут. Отчего же это? Будем откровенны: оттого, что вы на горбах наших богов сидите... Я слышу возражения... Прошу тишины и порядка!

Тут один из граждан набычился и спрашивает:

— К чему все эти разговоры, Эзоп?

— Просто так, — улыбнулся Эзоп. — Мы же с вами эллины. Живем в одном подлунном мире, и отчего бы не потолковать о делах. Значит, так: «Давай поговорим», — сказал волк овце. «О чем?» — спрашивает овца. «Хотя бы о папе и маме». «А я их не знаю», — отвечает овца. «Позабыла, что ли?» — удивляется волк понарошку. «Наверное». «Так вот, я и есть твой отец». Сказал это волк и раскрыл ненасытную пасть... К чему все это? Уважаемые дельфийцы, а к тому, что у волка и овцы разговор не получается. Слишком они разные. А мы с вами на одной земле живем. И не худо поговорить о делах. Мы же из одного стада.

— Можно по-разному говорить...

— Кто это сказал? — обращается к толпе Эзоп.

— Я, — говорит один юнец, с легоньким пушком над губою.

— Верно, — говорит Эзоп. — Можно говорить по-разному. Но есть один язык. Есть одна речь. Одно слово, достойное человека...

— Какое?

— Назови его!

Это выкрики из толпы.

— Очень простое... — Эзоп молчит, эдак изучающе поглядывает на толпу и говорит: — Слово это — правда! Только тот, кто говорит правду, тот, кто не чурается ее, любит ее и не боится говорить правду, есть человек настоящий.

— Разве так страшно говорить правду? — вопрошает тот же юнец с пушком над верхней губой.

— Как тебе сказать? — Вдруг Эзоп распаляется: — Человек живет единожды. Впрочем, как все живое. И долг его — говорить правду. Больше того: только правдой жив человек!

Раздался чей-то басовитый голос:

— Выкладывай же правду, уважаемый Эзоп.

Эзоп насторожился:

— Спрашивай, уважаемый, — отвечу.

— Только правду!

— Только.

— Чем, все-таки, не нравятся тебе Дельфы?

— Дельфы? — Эзоп окинул взглядом небеса, склоны гор, долину, лежащую глубоко внизу и бегущую к Коринфскому заливу. Поэт сказал: — Мне нравятся эти крутые склоны, оливковые рощи, которые лежат в дымке, дома нравятся. И храмы. Но я спрашиваю, что делаете вы для Эллады? Чем помогаете ей? Хлеб едите даровой. Оливки — даровые. Мясо — даровое. Вода — даровая. Солнце и воздух — тоже. Все у вас даровое.

— Это требует пояснения. — Это все тот же басовитый голос.

Толпа слушала Эзопу напряженно. Словно чего-то выжидая.

— Пояснения? — сказал Эзоп. — Неужели оно требуется? Оглянитесь вокруг. Чьи поля там, за горой, которые на виду у горы Парнас? Не ваши. А оливковые рощи, что тянутся отсюда до моря? Не ваши. У вас одни скалы да храмы. А еще и оракул... Однажды волк обратился к крокодилу за советом. Он спросил крокодила: «Что, ежели я перейду за ручей?» «Враг потерпит поражение», — последовал ответ. Обрадованный волк перемахнул через ручей, и его чуть не разорвали собаки... Волк предъявил претензии крокодилу. А тот сказал: «Я был прав: ведь ты и есть враг собакам. Вот и потерпел поражение».

— Он оскорбляет бога! — выкрикнул здоровенный детина, недавно примкнувший к толпе.

— Верно! — подхватили его возглас.

— Нет, — возразил Эзоп, прося утихомириться. — Божество для всех — божество. Я говорю о другом: о людях, которые прячут свои мысли вместо того, чтобы ясно выражаться.

— Неправда! Он оскорбил оракула!

— Помилуйте...

— Он дурачит нас!

— И не думал...

Больше всех орал молодой верзила. Он подмигивал своим друзьям, и те старались изо всех сил.

— Дельфийцы! — воскликнул Эзоп. — Я призывал вас уважать правду, говорить правду всем и в лицо! Слышите? Я толковал о правде!

Куда там! Толпа, подуськиваемая шустрыми молодыми людьми, все больше распалялась. Казалось, мгновение — и она накинется на поэта, чтобы растоптать его в кровавую лепешку...

— Дельфийцы, — пытался кричать Эзоп, потягивая в воздухе посохом. — Я же вовсе не о том! Я же о правде! Всего-навсего. Что это с вами?

Градоначальник спросил возвратившегося детину:

— Ну и как, прав был я?

— Да, уважаемый Гераклид. Этот пришелец оплевывал дельфийцев.

— Яснее, яснее, Герод.

— Он убеждал толпу, что все, живущие в Дельфах, суть бездельники и нахлебники.

— Что говорил я? — сказал Гераклид-градоначальник.

— Но это полбеды, уважаемый Гераклид. Эзоп рассказывал некую притчу, которая была сплошной насмешкой над нашей святыней...

— То есть?.. Яснее, Герод.

— Над оракулом нашим.

— Но ведь это богохульство!

— А иначе и не назовешь.

— Что же слушатели? Развесили уши? У этой толпы нет кулаков? Сорище скопцов, что ли?

— Да нет, не сказал бы. Его готовы были растерзать.

Градоначальник оглядел собравшихся. Развел руками.

— За чем же дело стало? — удивился главный жрец.

Градоначальник выглянул в окно. Он сказал:

— Люди все прибывают. Думаю, что для Эзопа будет худо. Очень худо! Герод,— обратился Гераклид к парню.— Что это там?

Герод посмотрел туда, куда был направлен указательный палец градоначальника.

— Вершина,— сказал Герод.

— А ниже?

— Кустарники.

— Не туда глядишь. Правее и ниже.

— Слепой,— сказал главный жрец.— Скалу не видишь?

— Да, да, скала!

Градоначальник положил руку на плечо Герода.

— Посмотри мне в глаза.

Герод направил покорные, воловьы глаза на Гераклида.

— Ты и друзья все проглотили?

— Что — все?

— А то, что болтал этот Эзоп.

— Нет.

— Чего же ты явился сюда? Чтобы порадовать наш слух глупостями этого негодяя? Дайте мне канат. Вон тот, который в углу.— Гераклид взял в руки канат в полный обхват и скрутил его, страшно напрягаясь при этом.— Видите, что станет со всеми нами, ежели мы позволим распускать свой язык разным болтунам...

Главный жрец насупился.

— Герод, зови своих друзей, найди достойных сотоварищей и поговори с этим болваном на краю той скалы. Ты видишь скалу?

Герод кивнул.

— Мы тебя не держим, Герод. Потом явишься за благодарностью.

— Слышишь, Герод? — крикнул градоначальник вслед убежавшему Героду.

— Куда ведете меня? — спросил Эзоп дюжих парней.

— Недалеко,— мрачно произнес Герод.

Эзоп почувствовал неладное:

— А все-таки — куда?

— Надо поговорить о правде.

— Разве мало места на площади?

— Шагай, блудливый пес!

— Мы тебя спасли от гнева дельфийцев,— сказал некий заика.

— Спасибо! Я останусь в этом лесочке.

— Ты пойдешь с нами! Живее переставляй ноги!

— Отдай мой посох.

— Сходи за ним!

Герод бросил посох вниз со скалы.

Парни расхохотались.

— Сходи за ним, Эзоп!

Понял Эзоп: пришел конец. Глянул вниз: высоченная высота или глубокая глубина. Внизу — сплошные камни. А за спиной дюжина дюжих убийц. Улыбающихся. Во весь рот. Посмотрел на них внимательно: воистину дюжина волков! Хотел рассказать притчу, но махнул рукой. Глянул вниз: не видно ли посоха?..

Геродот в своей «Истории» пишет: «Родопида жила в царствование Амасиса... Родом она была фракиянка, рабыня самосского жителя Иадмона, а ее товарищем по рабству был баснописец Эзоп... Когда дельфийцы много раз по велению оракула вызывали, кто мог бы получить выкуп за убитого у них Эзопа, никто не объявлялся; наконец получил выкуп внук того Иадмона, тоже Иадмон»... Плутарх счел нужным заметить в своем труде «О дельфийском оракуле» следующее: «Куда как достойно дельфийцев, Родопиде уделять место для десятой доли ее заработков, а Эзопа, ее товарища по рабству, казнить».

Настоящее исследование, основанное на реконструкции фрагментов Папируса II-8, предоставленного мне в Дельфах археологом господином Каридисом, имеет своей целью уточнить причину гибели правдолюбца Эзопа. Год конца поэта есть первый год пятьдесят четвертой олимпиады (564 до нашей эры).

Дельфы — Москва.

КТО ВЫ, СИНЬОР ХРИСТОФОР КОЛОМБО?

Христофоро Колумбо появился в лагере Санта-Фе близ Гранады. Он прибыл сюда на осле, купленном на деньги ее высочества Изабеллы. На те же самые денежки была приобретена и приличная одежда. В переметной сумке — все богатство Колумбо из Генуи: несколько карт и несколько книг.

На этом путешествии в Санта-Фе настоял преподобный Хуан Переш, настоятель монастыря Ла Рабида, что близ города Палос. Он сказал Колумбо:

- Вы должны быть у их высочеств — Фердинанда и Изабеллы.
- Им сейчас не до меня.
- Нет, именно сейчас. Мавров вот-вот изгонят из Гранады.
- Они это пытаются уже лет десять.

— Кто «они»?

— Их высочества.

— Синьор Коломбо, не упрямитесь. Я говорил с Мартином Алонсо Пинсоном. Он все уладил. Вас примут их высочества. А за сына своего Диего не беспокойтесь — братья монастырские позаботятся о нем. Не мешкайте же, в путь!

— Я этот путь проделывал не раз.

— И тем не менее, синьор Коломбо. Я очень верю в вас.

— А я, кажется, разуверился. В Португалии мои проекты отвергнуты. Во Франции — тоже. И в Англии нет веры им. Что остается?

Преподобный Хуан Переш возложил руки на плечи Коломбо: ему показалось, что моряк чуть покачнулся.

— Учтите, синьор Коломбо. Времена меняются. Вы были у их высочеств...

— И не раз! — вставил Коломбо.

— Верно, не раз. Но тогда было неясно с этой Гранадой. А сейчас дело другое — Гранада вот-вот падет. Торопитесь же!

Коломбо подумал о своем ослике и горько усмехнулся. «Торопиться на ослике?» — спросил сам себя.

— Не смейтесь, — строго сказал преподобный, — я даю вам верный совет.

— Я совсем не о том, — смущенно пояснил Коломбо. — Я — о своем ослике...

— Что делать? — сказал Хуан Переш. — Вот когда вы сделаетесь вице-королем и Адмиралом Моря-Океана, у вас будут кони и сопровождающие вас всадники. Не теряйте времени — вперед в Санта-Фе!

И Коломбо покорился. Переломил себя, нарушил клятву, которую дал себе: уехать из Испании и больше не казать носа у их высочеств. (Так именовали себя короли Кастилии и Арагона.) И Вартоломе, брат его, утверждал его в этом мнении. Ибо уже зондировал почву в Париже через влиятельных особ и в Англии, тщетно пытаясь заинтересовать королей проектом Западного водного пути в Индии.

Одним словом, Христофоро Коломбо оказался в Санта-Фе, когда испанцы ликовали, празднуя победу над Боабдилем Младшим из династии Насреддинов. Настроение у правителей, разумеется, было соответствующее...

Аудиенция началась полшутливым вопросом его высочества Фердинанда — мужчины, что называется, в соку. Он спросил:

— Синьор Коломбо, мы с вами видимся не в первый раз. В Генуе

вас именуют Колумбо, в Португалии — Колом, в Париже — Коломб, а в Лондоне — Колумбус. Многие из нас знают ваше имя, которое пишется так: Колон, Кристоаль Колон. Кто же вы, синьор Колумбо?

Христофоро Коломбо был огорошен. Как отвечать? Всерьез? Шутливо? Или промолчать? Он посмотрел на ее высочество Изабеллу, как бы ища у нее поддержки. Она улыбалась. Ждала, что скажет этот странный синьор. Это была очень приятная женщина. В свое время ее так опишет Эрман дел Пулгар: «Эта королева имела фигуру средней упитанности, приятную внешность и высокий рост. Она была белоликая блондинка, цвет глаз имела средний между зеленым и голубым, глаза смотрели доброжелательно и открыто...» Подобные описания Колумбо слышал от разных иберийцев.

Христофоро Коломбо отвечал в том смысле, что ему трудно уследить за пером различных писцов, но, как бы его ни величали, он хотел бы получить небольшую приставку, после того как достойно послужит их высочествам.

— Какую, синьор Коломбо?

— Титул вице-короля и Адмирала Моря-Океана.

— Ого! — Его высочество заплодировал. Ее высочество согласно завила супругу.

Коломбо принял аплодисменты как должное поощрение и перешел к изложению своих планов, которые иначе как бредовые при дворе не называли.

Да, чтобы не забыть: при беседе Коломбо с их высочествами присутствовал степенный Луис де Сантанхель, хранитель королевской казны. И в течение двух часов он не проронил ни единого слова, ничем не выказал своего отношения к предложениям генуэзца. Но мы еще увидим, какую сыграл он роль...

А куда Коломбо говорил, вернее, повторял говоренное уже не раз. Он даже не подумал: а надо ли их высочествам снова и снова выслушивать бредовые планы? Судите сами: вот Иберийский полуостров. Западный берег его омывается бескрайним Западным океаном. Это водное пространство бескрайнее — нет у него конца. Это ясно всем, как дважды два... Но что говорит этот Коломбо?

— Ваши высочества, здесь, в этой неказистой сумке, лежат карты и ученые книги. Не буду ими докучать вам. Я уже точно определил ширину Моря-Океана, которую надо преодолеть, чтобы достичь Индий. Не только достичь, но и вернуться оттуда с полным грузом золота, серебра, жемчуга, не говоря о пряностях. Что для этого требуется? Не так уж много, ваши высочества...

Христофоро Коломбо говорил, как всегда, горячо, артистично. Но что стояло за всем этим? Доскональное знание или интуиция? Кто

бывал за Морем-Океаном? Откуда ученые сведения? Из древнего мира? От греков? От римлян?

Христофоро Коломбо уверен: он и брат его Бартоломé, картограф, работающий в Лиссабоне, все измерили в градусах, лигах и милях, все рассчитали и взвесили. Через два месяца после выхода в море, скажем, из Палоса, корабли вернутся с невиданным богатством...

— Невиданным? — подивилась ее высочество Изабелла.

— Да! Вы сами вочию увидите это желтое золото, это серое серебро, этот блестящий жемчуг. А аромат пряностей ветер донесет в Севилью или Кордову из самого Палоса или Кадиса.

— Допустим, — говорит Изабелла, — а почему не помог вам король португальский? Разве ему помешает лишнее золото?

— Ваше высочество, не следует повторять ошибку одного монарха.

— Точно ли ошибку?

— Клянусь вам всеми святыми! Будь я монархом, непременно снарядил бы Колона, Колома или Колумбуса за море. Что бы я потерял? Ничего! А приобрел бы очень много! Ваши высочества, вам, конечно, знакомое имя Пинелли. Я его видел в Кадисе и рассказывал кое-что об Индиях за Морем-Океаном...

— Что же он? — Его высочеству было интересно узнать мнение синьора Пинелли.

— Он сказал, что не пожалел бы денег, если бы последовал ваш приказ.

— Так и сказал?

— Истинный крест! — Христофоро Коломбо перекрестился.

— Он знает толк в деньгах, — заметила ее высочество.

— Да еще как! Он не возьмется за дело, если мараведи не породят десяток себе подобных. Синьор Пинелли далеко смотрит вперед.

Его высочество нахмурился. Синьор Коломбо допустил промашку — это ясно. И постарался тут же поправить себя:

— Разумеется, он видит в меру своих купеческих возможностей. Он не обладает философическим складом ума, чужд политике. А ведь открытие и подчинение новых земель, кроме всего прочего, — дело высокой политики.

Его высочество — было заметно — слушал эти слова весьма благосклонно и очень был доволен.

— И все-таки, — сказала ее высочество, стоявшая чуть подальше от высокого кресла его высочества, — почему король Португалии не внял вашим доводам? Они показались ему неубедительными?

Надо было немедленно, не задевая достоинства ее высочества, парировать этот опасный для дела Коломбо выпад. Парировать самым энергичным образом.

— О, нет! — воскликнул синьор Коломбо. — Его величество король Португалии знает цену заморским плаваниям. Он поощряет мореплавателей, идущих на юг в поисках южного пути в Индии, ибо в Индиях полно богатства. Но почему только на Юг? Скажу: а потому, что португальцам не пришла мысль о плавании в Западном океане. Скажем прямо: знаний мало, а там, где мало знаний, — верх берет страх. Да, да, ваши высочества!

— Разве португальские моряки не доказали свое умение покорять моря? Иногда я даже завидую им.

Так говорил его высочество Фердинанд. На что Христофоро Коломбо отвечал с величайшим достоинством:

— Ничего худого я не скажу о его величестве. Я только могу задать вопрос: положил ли он конец владычеству мавров с таким умением и упорством, с каким это сделали вы, ваши высочества? Ответ будет один: нет! А почему разрешите мне усомниться в дальнорзости монарха в Лиссабоне. Надо быть слишком могучего ума, чтобы решиться на покорение Моря-Океана, ибо адмирал, каким бы умельцем в своем деле он ни был, еще не есть сила, покоряющая моря. Сила — это вы, ваши высочества!

И Коломбо склонил голову.

Еще долго продолжалась эта беседа. И закончилась она так же, как и предыдущая. Отдавая должное красноречию и энергии синьора Коломбо — Колона — Колома — Колумбуса и прочая и прочая, невозможно в настоящее время рисковать оскудевшей казной. Это ясно?

— Нет, — твердо выговорил Коломбо.

— Разве?

— Нет, ваше высочество. Речь идет не об оскудении казны, но о ее пополнении. Причем изрядном пополнении! Вот почему я хочу испросить у вас милости дать мне три корабля, человек сто и звание вице-короля и Адмирала Моря-Океана. Но все это при том, что будут открыты Индии.

— Да, но корабли! Но люди! Но расходы!

Аудиенция была закончена.

Синьор Коломбо вышел на площадь. Отсюда он видел торжественное шествие, направлявшееся в центр освобожденной Кордовы. Кресты и флаги возвышались над толпой в пух и прах разодетой знати.

Светило яркое солнце — апрель стоял жаркий, дело шло к знойному лету.

Ослик стоял в тени раскидистого дерева. Он слегка вздрогнул, когда Коломбо бросил ему на спину переметную сумку.

— Что, дружок? — спросил Коломбо надтреснутым голосом. Ему было так плохо, что готов был поделиться своим горем даже с осликом. Синьор пересчитал деньги. Прикинул, надолго ли их хватит. Следовало промочить горло если не вином, то хотя бы водою. Беглый осмотр местности показал, что харчевни нет поблизости. Несостоявшийся вице-король взобрался на животное и направил его на запад, полагая таким образом достичь если не Индий, то по крайней мере Палоса. Паршиво было на душе! Кому поведать свою печаль?.. А печаль была сильная, ибо рушилась последняя надежда, рушились мечты. К горлу подступал солоноватый ком.

Уже исчерпаны все средства — повсюду отказ, повсюду недопонимание. Или сошел с ума он, Коломбо, или сошли с ума все остальные, кто отказывал ему в своей помощи...

А куда ослик под палящим солнцем тащил своего хозяина в сторону ближайшей деревни Пинос-Пуэнте. Сюда верховой добирался за час. А сколько на ослике?

В деревне нашлась приличная харчевня. Владелец ослика решил: заказал себе бутылочку вина и кусок хлеба с сыром. Позаботился и об ослике: охалка сена и полведра воды ублажили животное. Об этом была извещена деревня радостными ослиными возгласами...

Синьор Христофоро Коломбо подводил итоги своим домоганиям. Результаты были невеселые. Устные доказательства, карты, книги никого не убедили. Что остается, если Испания, последняя надежда, и та отвернулась от него? Что же до Генуи, там плавают только в Средиземном и ближайших небольших морях, вроде Черного. Кишка тонка!

Христофоро Коломбо сидел в углу харчевни. Прихлебывал дешевое вино, которое было чуть покрепче воды. Лениво пожевывал хлеб, нехотя откусывал куски соленого сыра. Вроде бы голоден, но ест через силу. Черт знает что!

Харчевник выполз на середину просторного помещения и сладко почесывал пузо, глядя на залитый солнцем мир. Он так долго торчал здесь, что Коломбо не удержался и спросил:

— Что там, уважаемый?

Хозяин медленно повернулся вокруг оси и, позевывая, сказал:

— А ничего. Солнце одно.

— И больше ничего?

— Нет. Впрочем, есть еще и ослик. Ваш.

Коломбо потянуло на беседу:

— А что, уважаемый, слышно про Западный океан? Вы здесь на бойком месте. Все, наверно, знает.

— Про Западный океан? — удивился харчевник.

— Есть ли за ним земля?

— За океаном?

— Да, за ним.

— Нет, — отрезал харчевник. — Сказки все это!

— Что — сказки?

— Индии разные и прочая чепуха.

И поплелся в свой закуток.

Это происходило в начале апреля 1492 года.

Америка так и не была бы открыта. Колумб не стал бы великим скитальцем и открывателем. Ни вице-королем, ни Адмиралом Моря-Океана. Если бы не одно лицо, которое оставалось в тени и остается в тени до сих пор. Это — Луис де Сантанхель, хранитель королевской казны. Он сказал нечто в тот день, когда Христофоро Колумбо сидел в деревенской харчевне. После его слов посланец их высочеств настиг Колумбо в деревне Пинос-Пуэнте и вернул его в лагерь Санта-Фе.

И тут открытие Америки уже было предопределено. Им. Неким Христофоро Колумбо.

А если бы дон Луис де Сантанхель промолчал и не переспорил их высочества?

Мадрид — Москва.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Высота 2010	3
Мама покупает провизию	9
Почти золотой держатель карандаша	15
В Липнице и Уфе	18
Рассказ о рассказе	23
Судьба	28
Эзоп в Дельфах	34
Кто вы, синьор Христофоро Колумбо?	40

Георгий Дмитриевич ГУЛИА

ЭЗОП В ДЕЛЬФАХ

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 26.06.85. Подписано к печати
08.08.85. А 00379. Формат $70 \times 108^{1/32}$.
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-
изд. л. 2,98. Усл. кр.-отг. 2,28. Тираж
85 000 экз. Изд. № 2169. Зак. № 1100.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда», 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!

● В книжных магазинах книготоргов и потребсоюзов Российской Федерации книги можно не только купить, но и приобрести их по выигрышным билетам Всероссийской книжной лотереи.

● Стоимость билета 25 копеек. Сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3 и 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

● Вероятность выигрыша велика, так как из каждых 200 билетов — 69 выигрышных!

● По выигрышным билетам можно приобрести любую книгу или другие печатные издания по своему выбору из наличного ассортимента книжного магазина или киоска.

● Если сумма выигрыша меньше стоимости выбранной вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

● Прочитанные книги вы можете предложить книжным магазинам для повторной продажи. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

Росглавкнига
Дирекция Всероссийской книжной лотереи
книготорг